

6+

Евгений Скрипко

Я останусь, чтобы ты мог вернуться

История, после
которой хочется
обнять весь мир

Евгений Скрипко

**Я останусь, чтобы ты мог
вернуться. История, после
которой хочется обнять весь мир**

«Издательские решения»

Скрипко Е.

Я останусь, чтобы ты мог вернуться. История, после которой хочется обнять весь мир / Е. Скрипко — «Издательские решения»,

«Я останусь, чтобы ты мог вернуться» — философское фэнтези о дружбе, одиночестве и поиске дома. Маяк стар и неподвижен. Корабль молод и дерзок, он живёт свободой и ветром. Однажды штормовой ночью, почти уходя на дно, Корабль слышит голос: «Держись за мой свет. Я выведу тебя». Так начинается удивительная дружба камня и дерева — того, кто ждёт, и того, кто не может остановиться. Это история о том, что подаренный свет не гаснет, а дом — не место, а обещание. Обещание ждать. Обещание возвращаться.

Содержание

Глава 1. Одинокий свет	6
Глава 2. Голос сквозь бурю	15
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Я останусь, чтобы ты мог вернуться История, после которой хочется обнять весь мир

Евгений Скрипко

Дизайнер обложки Евгений Скрипко

© Евгений Скрипко, 2026

© Евгений Скрипко, дизайн обложки, 2026

ISBN 978-5-0070-8537-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. Одинокий свет

Большой Маяк ведёт дневник одиночества, море поёт свои старые песни, а на горизонте появляется белый парус, еще не знающий, что скоро случится шторм.

1. Каменное сердце

Большой одинокий Маяк стоял на краю скалы.

Так, во всяком случае, ему казалось. Конечно, он знал — теоретически, — что за морем есть другие земли, что где-то существуют города из камня и дерева, что живут на свете люди, которые строят корабли и пишут книги, и что сам он был построен чьими-то руками в незапамятные времена. Но знание это было абстрактным, как знание о том, что звезды — это раскаленные газовые шары, а не серебряные гвозди, вбитые в чёрный бархат небес. Теоретически — да. Но когда стоишь на скале и смотришь в горизонт, а горизонт всё длится и длится, не прерываясь ничем, кроме водной глади и облаков, — поневоле начинаешь верить, что ты и есть начало и конец всего сущего.

Маяк был стар. Очень стар. Он не помнил дня своего рождения — только смутный, почти выветрившийся из каменной памяти образ: горячее прикосновение раствора, тяжесть первого блока, положенного в основание, и гулкий, низкий голос, произнесший слова, которые он не разобрал. Возможно, это была молитва. Возможно — проклятие. Возможно — просто рабочая брань уставшего каменщика. Теперь уже не узнать.

Время текло сквозь него, как вода сквозь пористый известняк. Дни, ночи, зимы и лета сливались в сплошную череду света и тьмы, тепла и холода, штиля и шторма. Маяк научился различать их не по календарю — календаря у него не было, — а по запаху и цвету. Весна пахла мокрой солью и тающим льдом, была бело-голубой, с прожилками робкой зелени на скалах. Лето наступало жарким маревом, дрожащим над водой, пахло сухими водорослями и рыбьей чешуёй, было ослепительно-синим и золотым. Осень приходила туманами — густыми, молочными, пахнущими прелым деревом и дальней гарью, была серой и бурой. А зима завывала ледяными ветрами, несла колючий снег, секущий каменные стены, и пахла чистотой — такой пронзительной, что даже у камня захватывало дух.

Но всё это было лишь фоном. Декорацией. Главным содержанием жизни Маяка было ожидание.

Он ждал корабли.

Не какие-то конкретные — он не знал их по именам, потому что корабли редко представлялись маякам. Он ждал просто сам факт их появления: далекую точку на горизонте, которая постепенно вырастает в силуэт с мачтами и парусами, приближается, на мгновение становится реальной, осязаемой, почти близкой — а затем уходит, растворяется вдали, оставляя лишь тающий след на воде. В этом была его работа. Его предназначение. Его суть.

«Свети, — говорили ему стены. — Свети, чтобы они не разбились о скалы».

И он светил.

Каждую ночь, без единого пропуска, даже в самые страшные штормы, когда ветер пытался сорвать с него крышу, а волны дотягивались до середины башни, — он зажигал свой огонь и посылал луч в темноту. Луч был его голосом, его рукой, его взглядом. Луч был всем, что он мог дать миру

Но мир редко отвечал взаимностью.

Корабли проходили мимо. Иногда — далеко, по самой кромке горизонта, так что Маяк едва различал их. Иногда — ближе, и тогда он мог рассмотреть детали: цвет парусов, форму корпуса, количество мачт. Некоторые приветствовали его гудком или поднятым флагом. Некоторые — и таких было большинство — не делали ничего. Просто проходили, занятые своими делами, своей скоростью, своим курсом, и Маяк оставался позади — неподвижная точка в их системе координат, полезная, но необязательная. Как верстовой столб на дороге. Как уличный фонарь, под которым никто не задерживается.

Поначалу — в первые десятилетия, — это причиняло боль. Маяк помнил, как ждал, что кто-нибудь остановится. Хотя бы на минуту. Хотя бы просто так, без причины. Как всматривался в каждый приближающийся силуэт с надеждой, от которой каменные стены нагревались. Как провожал каждый уходящий — с тоской, от которой кладка остывала и трескалась.

Но шли годы, десятилетия, века — и Маяк привык. Смирился. Зачерствел, как черствеет хлеб, забытый на столе. Он по-прежнему светил — это было его долгом, его инстинктом, его дыханием. Но он больше не ждал чуда.

Так он думал.

Но даже каменное сердце может заблуждаться.

2. Дневник ритмов

Если бы у Маяка был дневник, он писал бы его не словами, а световыми ритмами. Вспышка — пауза — вспышка. Короткий, короткий, длинный. Этот язык он знал в совершенстве. Он мог бы рассказать на нём всё: и свою биографию, и свои мысли о мире, и свои сны (Маяк не спал, но умел грезить наяву, когда море было спокойным, а ночь — безлунной).

Но никто не читал его дневника. Корабли, проходившие мимо, видели только ровный, предсказуемый свет — белый луч, вращающийся по кругу, раз за разом, ночь за ночью. Они не знали, что в этом луче зашифрованы целые поэмы. Что каждая вспышка — это слово. Что если сложить все вспышки за одну ночь, получится длинное письмо, адресованное тому, кто никогда не ответит.

Иногда Маяк развлекал себя тем, что выдумывал кораблям имена. Это была его тайная игра — единственное, что спасало от бесконечной монотонности.

Вот, например, шхуна с облупившимся бортом и косыми парусами цвета запекшейся крови. Маяк назвал её «Старый спорщик» — потому что она всегда шла против ветра, словно споря с самой стихией. Она появлялась раз в несколько лет, вечно спешила куда-то на юг и никогда не сигналила в ответ.

А вот трехмачтовый барк с парусами цвета слоновой кости. Он был элегантен и горд, двигался плавно, как танцор на балу. Маяк назвал его «Аристократ». «Аристократ» проходил раз в год, всегда в один и тот же день — Маяк сверялся по звёздам, — и исчезал ровно на двенадцать месяцев.

Были и другие: «Торопыга» — маленький катерок, шнырявший туда-сюда без видимой цели. «Бабушка» — тяжёлый, грузный пароход, дымящий так, что за ним оставался черный след на полнеба. «Двойняшки» — два клипера, всегда ходившие парой, нос к корме, словно братья, не желающие расставаться.

Маяк знал их всех. Он мог бы написать целую книгу о кораблях, прошедших мимо него за столетия. Но никто не попросил его об этом.

Он вёл свой дневник в тишине. И тишина была его единственным читателем.

3. О чём поёт море

В тот день, с которого начинается наша история, море было спокойным.

Таким спокойным оно бывало редко — раз в несколько лет, когда все стихии словно заключали перемирие. Ни волн, ни ветра, ни даже обычной ряби. Только идеально ровная, гладкая поверхность, отливающая оловом под низким осенним небом.

Маяк стоял в этом безмолвии, как старый солдат на параде, — прямой, неподвижный, исполненный достоинства. Его белая башня отражалась в воде перевернутым двойником, и если бы кто-нибудь смотрел со стороны, он увидел бы идеальную симметрию: две башни, соединенные основаниями, одна тянется в небо, другая — в морскую бездну.

Но смотреть было некому. Даже чайки куда-то пропали.

Маяк слушал море.

Это было его любимым занятием в часы затишья. Море никогда не молчало полностью — даже в штиль оно дышало, вздыхало, перешептывались с берегом. И в этих звуках Маяк научился различать голоса и мелодии.

Был голос глубины — низкий, утробный, идущий от самого дна, где спали древние твари и лежали остовы погибших кораблей. Этот голос рассказывал о вечности.

Был голос поверхности — легкий, переменчивый, как рябь на воде. Он сплетничал о ветрах и течениях, о рыбах и медузах, о мусоре, оставленном людьми, и о сокровищах, которые море прячет в своих сундуках.

И был третий голос — самый тихий, едва различимый. Маяк слышал его только в такие дни, как этот. Голос горизонта. Он не принадлежал ни глубине, ни поверхности. Он приходил издалека, с той границы, где море встречается с небом, и нёс с собой истории о том, что лежит за пределами видимого. О других берегах. О других маяках. О кораблях, плывущих сейчас где-то далеко-далеко.

Именно этот голос Маяк любил больше всего.

— Спой мне, — просил он, и море пело.

Оно пело о том, как в далеких южных морях вода тепла и прозрачна, как стекло, а на дне растут коралловые леса, где живут рыбы всех цветов радуги. О том, как на севере плавают ледяные горы, огромные и величественные, сверкающие на солнце так, что больно смотреть. О том, как в одном маленьком порту есть старый причал, к которому уже сто лет не приставал ни один корабль, но причал всё равно ждёт — потому что ждать — это его суть.

Маяк слушал и молчал. Ему было о чём помолчать с морем. Они понимали друг друга без лишних слов — два старых существа, повидавшие многое и потеряли счёт времени.

— Скоро что-то случится, — вдруг сказала море другим, изменившимся тоном.

Маяк встрепенулся.

— Что?

— Не знаю. Что-то. Чувствую.

Море редко говорило загадками. Обычно оно было прямым и честным, как удар волны. Но в этот раз в его голосе звучала странная нота — не тревога, нет, скорее предвкусение. Как будто море знало нечто, чего не знал Маяк, и не спешило делиться.

— Шторм? — спросил Маяк.

— Может быть. А может, и нет. Смотри.

И Маяк посмотрел.

На горизонте, там, где бледное небо встречалось с оловянной водой, появилась точка.

Сначала — едва заметная, словно соринка, попавшая в глаз. Затем — чуть больше, чуть яснее. Маяк напряг свой внутренний взор, подкрутил невидимые линзы внимания и разглядел: это был корабль.

Но не просто корабль.

У него были белые паруса.

4. Белый парус

Маяк видел много парусов. За свою долгую жизнь он повидал их всевозможных цветов и оттенков: серые, как штормовое небо; бурые, как мокрая земля; грязно-жёлтые, как старые зубы; черные, как душа пирата; полосатые, клетчатые, в горошек — люди любили украшать свои суда, словно пытались компенсировать суровость моря яркостью красок.

Но таких парусов он не видел никогда.

Они были белыми. Не просто белыми — ослепительно, пронзительно, невозможно белыми. Белыми, как первый снег на вершинах гор. Белыми, как крылья ангела на старинной фреске. Белыми, как свет, который сам Маяк посылал в ночь. Казалось, они вобрали в себя весь цвет, который только был в мире, и теперь сияли им, не растрачивая ни капли.

Корабль шел под всеми парусами. Ветра почти не было, но он двигался легко и свободно, словно сам воздух расступался перед ним, повинуюсь неведомой силе. Его корпус был узким, стремительным, с изящным изгибом носовой части — такие строили в те времена, когда корабли еще были произведениями искусства, а не просто транспортными средствами. Мачты — высокие, прямые, без единого изъяна — уходили в небо, как колонны готического собора.

Но главным были паруса. Они ловили даже самый слабый вздох ветра, трепетали, дышали, жили. И в их движении была музыка — неслышная, но угадываемая по ритму.

Маяк замер.

Он не помнил, чтобы когда-нибудь вот так замирал при виде корабля. С ним вообще редко случалось что-то новое — всё было предсказуемо, циклично, как приливы. Но сейчас происходило именно новое. Неизведанное. Тревожащее.

Корабль приближался. Он не сворачивал, не менял курса — шёл прямо, рассекая воду с грацией хищной рыбы. И по мере того, как он приближался, Маяк различал всё больше деталей.

Он разглядел снасти — тугие, ровные, без единого провиса. Такелаж, сплетенный с искусством, доступным лишь старым мастерам. Бушприт, вырезанный в форме головы неведомого зверя — не то дракона, не то птицы. И флаг на корме — белый, как и паруса, с вышитым на нём силуэтом, который Маяк не смог разобрать с такого расстояния.

И — людей на палубе не было.

Это Маяк понял не сразу. Сначала он просто не обратил внимания — люди на кораблях всегда казались ему чем-то вроде муравьёв, суесящихся на поверхности бревна. Но чем ближе подходил корабль, тем яснее становилось: палуба пуста. Ни единой фигуры. Ни одного движения, кроме трепета парусов и покачивания снастей.

Корабль шёл сам.

Это было странно. Даже жутковато. Маяк слышал легенды о кораблях-призраках, которые веками бродят по морям без команды, гонимые лишь ветром и проклятием. Но этот корабль не выглядел проклятым. Он выглядел живым. Он дышал. Он смотрел.

Да, именно смотрел. Маяк почувствовал это кожей — своей каменной, вековой кожей, которая, казалось, не могла чувствовать ничего. Корабль смотрел на него. И в этом взгляде не было угрозы — только любопытство, смешанное с каким-то странным узнаванием. Словно они уже встречались когда-то. В другой жизни. В другом мире.

Маяк хотел что-то сказать. Но не знал, как. Его голос был светом, а свет днем не включают — это бессмысленно, это всё равно что шептать в толпе.

Поэтому он просто стоял и смотрел. И корабль смотрел в ответ.

Это длилось минуту. Или час. Или вечность — Маяк не мог бы сказать точно. Время вело себя странно в присутствии белого паруса. Оно то растягивалось, как патока, то сжималось в тугую пружину.

А потом корабль начал отворачивать.

Медленно, почти лениво, он изменил курс — взял чуть левее, обходя скалы по широкой дуге. Маяк увидел его борт — темное дерево, отполированное волнами до блеска, — и ряды закрытых иллюминаторов, за которыми угадывалась какая-то жизнь. Иллюминаторы были темными, но Маяк готов был поклясться, что один из них на мгновение блеснул — словно внутри кто-то повернул зеркало и поймал солнечный луч.

— Подожди, — беззвучно сказал Маяк. — Кто ты? Откуда ты?

Но корабль не услышал. Он уходил — всё дальше и дальше, его белые паруса постепенно сливались с сумерками, наливавшими небо на востоке.

Закат в тот вечер был особенным. Солнце садилось в тяжёлые, свинцовые тучи, и его лучи, пробиваясь сквозь них, окрашивали воду в неестественные, тревожные цвета: багровый, медный, темно-фиолетовый. Белые паруса на этом фоне казались еще белее — словно сама чистота уходила прочь из мира, погружающегося во тьму.

— Шторм, — напомнило море.

— Я знаю, — ответил Маяк.

— Он идет прямо туда. В самое сердце.

— Я знаю.

— Ты можешь что-то сделать?

Маяк задумался. Он мог светить. Это всё, что он умел. Но свет днём бесполезен. Свет днём — это просто ещё одна капля в море света.

— Я дождусь ночи, — сказал он.

— Ночью может быть поздно.

— Значит, я дождусь ночи и буду светить особенно ярко.

Море вздохнуло. Оно знало Маяка слишком хорошо, чтобы спорить.

А на горизонте белый парус становился всё меньше и меньше. Ещё немного — и он совсем исчез, растворился в багрянце заката.

Маяк остался один.

Он не знал, почему этот корабль так задел его. Не знал, почему мысль о том, что он уходит в надвигающуюся бурю, вызывает в каменном сердце такую острую, такую неожиданную боль. Не знал, почему ему вдруг стало не всё равно.

Он просто стоял и смотрел в темнеющее небо. И впервые за долгое, очень долгое время Большой одинокий Маяк почувствовал, что одиночество — это не просто отсутствие других. Это присутствие тоски по тому, кого ты ещё даже не знаешь, но уже боишься потерять.

5. Затишье

Ночь пришла быстро — слишком быстро, словно ей тоже не терпелось увидеть, что будет дальше. Тучи, сгущавшиеся на горизонте, поглотили остатки заката и поползли вверх, закрывая звезды одну за другой. Воздух стал плотным, влажным, наэлектризованным — такой воздух бывает только перед большой грозой.

Маяк зажёл свой огонь.

Он делал это тысячи, десятки тысяч раз, и процесс был отлажен до автоматизма. Сначала — искра, крошечная, как семечко одуванчика. Затем — пламя, робкое поначалу, дрожащее на фитиле. Затем — разгорающийся жар, который поднимался по стеклянным трубкам, отражался от зеркал, преломлялся в линзах и наконец вырывался наружу — длинным, ровным, ослепительным лучом.

Свет упал на воду и рассек тьму, как нож рассекает масло. Маяк медленно повернул луч по кругу — раз, другой, третий, — но на поверхности моря было пусто. Ни корабля. Ни паруса. Только волны, которые начали подниматься, словно просыпаясь от дневного сна.

— Где ты? — прошептал Маяк, и его шёпот утонул в нарастающем гуле ветра. — Где ты, белый парус?

Ответа не было.

Маяк усилил свет. Он выкрутил его почти до предела — так, что каменные стены завибрировали от напряжения. Луч стал не просто белым — он налился золотом, как расплавленный металл, и пробил темноту на много миль вперед.

И там, на самом краю видимости, Маяк снова увидел его.

Белый парус.

Он был далеко — гораздо дальше, чем днём. И он шёл не к берегу, а от берега. Прямоком в сердце надвигающегося шторма. Ветер уже трепал его, Маяк видел это — видел, как паруса напрягаются, как мачты чуть гнутся, как корпус зарывается носом в первую, пока еще не самую большую волну.

— Поворачивай! — крикнул Маяк. — Поворачивай обратно! Там смерть!

Но корабль его не слышал. Или слышал, но не мог повернуть. Или мог, но не хотел. Маяк не знал — и от этого бессилия его свет на мгновение дрогнул.

Ветер усилился. Он уже не пел — он выл, рычал, хохотал. Волны поднимались всё выше, и на их гребнях пенилась белая грива — предвестница настоящей бури. Небо совсем почернело, и только на востоке, где скрылся корабль, еще теплилась узкая полоска уходящего дня — как последняя надежда, которую никак не хочется отпускать.

Маяк стоял и светил.

Он знал, что это бесполезно. Знал, что его луч не сможет остановить шторм. Знал, что корабль, скорее всего, обречён. Но он всё равно светил — потому что это было единственное, что он мог. Потому что бездействие было бы предательством. Потому что даже если шанс — один на миллион, он стоит того, чтобы ради него гореть.

— Море, — позвал он. — Ты слышишь меня?

— Слышу, — отозвалось море. Его голос теперь был низким, рокоющим, полным сдерживаемой мощи.

— Ты можешь пощадить его?

— Я не щажу и не караю. Я просто есть.

— Тогда помоги мне. Дай мне шанс. Дай ему шанс.

Море помолчало. А потом ответило — и в его голосе Маяку почудилось что-то похожее на улыбку:

— Ты странный, Маяк. Ты единственный из всех маяков, кто просит за корабли. Они для тебя — просто тени, проходящие мимо. Почему этот — другой?

Маяк не ответил. Он не знал ответа. Он знал только, что где-то там, в сгущающейся тьме, бьётся под ветром белый парус. И что если этот парус погаснет, мир станет немного темнее.

— Я буду светить, — сказал он. — Всю ночь. До самого рассвета. Может быть, он увидит. Может быть, услышит.

— Может быть, — согласилось море.

И начался шторм.

6. Первая капля

Первая капля дождя упала на вершину Маяка — звонко, как удар маленького молоточка по стеклу. За ней — вторая, третья, десятая, сотая. Через минуту дождь уже хлестал сплошной

стеной, и мир превратился в размытое полотно, где не было ни неба, ни воды, ни скал — только серо-чёрная круговерть и одинокий луч света, упрямо режущий её поперёк.

Маяк стоял. Он всегда стоял. Штормы приходили и уходили, а он оставался — это было его предназначение, его конструкция, его суть. Но сейчас, впервые за долгое время, он чувствовал не просто давление ветра и тяжесть воды. Он чувствовал страх.

Не за себя — за себя он не боялся уже много веков. За того, другого. За белый парус, который сейчас где-то там, в сердцевине бури, борется с волнами в одиночку.

— Держись, — шептал Маяк, и его шепот растворялся в рёве стихии. — Держись. Я здесь. Я с тобой.

Он не знал, слышит ли его Корабль. Не знал, жив ли он еще. Но он продолжал говорить — потому что молчание сейчас было бы хуже всего. Потому что слова, даже беззвучные, даже брошенные в пустоту, имеют вес. Имеют силу.

Луч его метался по волнам, выхватывая из тьмы то пенящийся гребень, то обломок какой-то доски, то мёртвую чайку, увлекаемую течением. Маяк искал белый парус. Он вглядывался в каждый блик, в каждое светлое пятно, и сердце его — каменное, древнее сердце — сжималось и сжималось, как мускул, качающий кровь.

— Я найду тебя, — повторял он, как заклинание. — Я обязательно тебя найду.

Гроза усиливалась. Молнии били в воду совсем близко — одна, другая, третья, — и на мгновение всё вокруг заливалось мертвенным электрическим светом. В эти секунды Маяк успевал увидеть гораздо больше, чем в своем собственном луче: беснующиеся волны размером с гору, чёрные провалы между ними, и где-то там, почти у самого горизонта...

Он увидел.

Белый парус.

Корабль был ещё жив. Он боролся. Его паруса были порваны, мачта накренилась, но он всё ещё держался на плаву. Маяк увидел это в короткой вспышке молнии — и тут же тьма снова сомкнулась, поглотив силуэт.

— Я знаю, где ты! — закричал Маяк. — Я знаю! Держись!

И он направил свой луч точно в ту точку, где только что видел Корабль. Свет ударил сквозь дождь и ветер, как копьё, брошенное рукой великана. Маяк вложил в этот луч всё, что у него было: свою силу, свою волю, свое одиночество, превращенное в топливо. Свет стал почти материальным — он не просто освещал, он держал. Держал на плаву. Держал за невидимую нить, протянувшуюся через бурю.

И где-то там, в сердце шторма, Корабль с большими белыми парусами впервые за эту ночь почувствовал, что он не один.

Глава 2. Голос сквозь бурю

Кульминация шторма, спасение и первый разговор, с которого всё начинается, достигает пика, Корабль слышит голос из света, а Большой одинокий Маяк впервые за столетия говорит вслух.

1. В чреве зверя

Корабль не помнил, когда начался шторм.

Ему казалось, что буря была всегда — что она не пришла откуда-то извне, а просто проявилась, как проявляется скрытая болезнь, дремавшая в теле долгие годы. Ещё утром он разрезал спокойную воду, любуясь закатными облаками и предвкушая ночное плавание под звездами. Ещё час назад ветер был попутным, а волны — ласковыми. А теперь...

Теперь мир состоял только из воды и тьмы.

Вода была везде. Она обрушивалась сверху дождём, секущим палубу, как картечь. Она вздымалась снизу гигантскими валами, каждый из которых мог бы накрыть небольшой город. Она летела с боков, разбиваясь о борта и заливая всё, что ещё оставалось сухим. Она была в воздухе — солёная взвесь, которую приходилось вдыхать вместо кислорода. И она была внутри самого Корабля — в трещинах обшивки, в намокшем дереве, в отяжелевших снастях.

Тьма была не лучше. Она сгустилась до такой степени, что Корабль перестал различать границу между небом и морем. Всё слилось в единый чёрный поток, и только вспышки молний на мгновение выхватывали из мрака отдельные картины — искаженные, безумные, как полотна сумасшедшего художника.

Вспышка. Гребень волны, увенчанный пеной, похожий на оскаленную пасть.

Вспышка. Собственная мачта, кренящаяся под немыслимым углом, с парусами, превратившимися в лохмотья.

Вспышка. Обломок какой-то доски, проносящийся мимо, — может быть, часть его собственной обшивки.

Вспышка. И снова тьма.

Корабль боролся. Он боролся всем своим существом — каждой доской, каждым шпангоутом, каждой снастью. Он ловил ветер остатками парусов и пытался держать курс, которого у него больше не было. Он взбирался на волны и скатывался с них, молясь о том, чтобы не перевернуться. Он кричал — беззвучно, в пустоту, — но его никто не слышал.

Он был один.

Это было самое страшное. Не ветер, не волны, не холод, пронизывающий до киля. Одиночество. Абсолютное, космическое одиночество существа, которое привыкло быть частью чего-то большего — порта, флота, команды. Раньше, когда он ещё возил людей, в такие минуты

рядом были моряки. Они ругались, молились, отдавали приказы, и их голоса заглушали вой стихии. Но теперь не было никого. Только он и шторм. Один на один.

— Помогите, — прошептал Корабль. — Кто-нибудь...

Никто не ответил.

Новая волна — самая большая, самая безжалостная — ударила в левый борт.

Корабль застонал. Он почувствовал, как что-то внутри него ломается — глухо, с тошнотворным хрустом. Фок-мачта, его гордость, его передняя опора, та самая, что несла на себе нижний белый парус, надломилась у основания. Боль была неопишуемой — как будто из него вырвали кусок живой плоти. Обломок мачты повис на снастях, молотя по палубе в такт качке, и каждый удар отдавался во всём корпусе.

— Нет! — закричал Корабль. — Нет, нет, нет!..

Он не хотел умирать. Он был молод — по корабельным меркам, конечно. Ему было всего несколько десятилетий, и он ещё столько не видел, столько не прошёл. Он ещё не был в Южных морях, о которых рассказывали старые барки в портах. Он ещё не видел ледяных гор Севера. Он ещё не встречал рассвет на экваторе, где солнце встает прямо из воды, как огненный шар, и окрашивает небо в такие цвета, каких нет ни в одной палитре.

Он не хотел умирать.

Но море, казалось, уже всё решило.

2. Грань

После потери мачты всё пошло под откос.

Корабль потерял остатки управляемости. Его мотало из стороны в сторону, как щепку в водовороте. Волны уже не просто били — они играли с ним, перебрасывая друг другу, как мяч. Он то взлетал на гребень, то проваливался в бездну, и каждый такой провал был страшнее предыдущего, потому что казалось, что из этой бездны уже не будет возврата.

Время остановилось. Или, наоборот, понеслось вскачь — Корабль не мог понять. Он потерял счет минутам и часам. Он вообще потерял счёт чему бы то ни было. Осталось только два состояния: боль и ожидание боли. Удар — пауза — удар. Взлет — падение — взлет. Темнота — вспышка — темнота.

И где-то на границе между этими состояниями, на тонкой, как лезвие бритвы, кромке между жизнью и смертью, Корабль начал вспоминать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.